

фия стремилась осветить славное происхождение русских и воспроизвести грандиозную историю русской монархической государственности, то болгарская историография в тяжелых условиях турецкого порабощения стремилась воспеть славу древнему Болгарскому царству и призвать народ к национальному возрождению. Поэтому соответственно различались возникшие почти одновременно, но в разных условиях труды Ломоносова и Паисия Хилендарского: первый из них остается историографической вершиной эпохи в смысле научном, хотя и не отвергает целиком исторические «басни», второй же, гораздо более легендарный, получает непреходящее место в историографической публицистике. Но в целом историография обладала общетиповой идеологической программой, состоявшей в том, чтобы наставлять нарождающиеся нации примерами громкой славы их далеких предков (обычно фантастических) и позднейших героев на полях брани и в государственных советах. Историография эта по своим сюжетам и методике долгое время оставалась легендарной, приобретая именно поэтому наибольшее литературное значение. Версия в ней господствовала над фактом, а повествовательная компиляция — над историческим анализом. Если речи исторических героев или обстоятельства их жизни оставались неизвестными, то они нередко придумывались историографами (даже в XVIII в.). В историографическом изложении традиционно книжные сюжеты или документальные факты перемежались с фольклорными преданиями, а литературная риторика — со средствами живой речи. Стремление к научной специализации все еще уступало стремлению к популярной занимательности, и в этих случаях «история» рисовалась как «повесть сладкая и красная».¹

Каждый историограф, осваивая эту традицию как общее достояние, считал себя, однако, первооткрывателем своей национальной истории и осознавал свой труд как высокую духовную миссию.

Историография выступала в это время как поучительно-литературная история народа. В процессе развития общественной идеологии она занимала промежуточное положение между феодально-средневековой хронографией и буржуазной исторической наукой, по-видимому, также с последующими ответвлениями ее сюжетов в сторону исторического романа и исторической драмы.

Если вернуться к общей оценке идеологической роли агиографии и хронографии в средние века, то следует вспомнить, что, будучи материалом для чтения, каждый из этих жанров прежде всего обладал важными вне-литературными функциями: жития святых служили целям религиозного воспитания, летописи — задачам документально-историческим и политическим. Трансформация этих жанров в переходный период приводила к владению в них литературно-публицистических функций, и это касалось почти в равной мере как историографии, так и автобиографии. Но к завершению переходного периода, на рубежах нового времени внутренняя структура идеологических функций этих жанров снова меняется: автобиография начинает в большей мере тяготеть к художественной мемуаристике, а историография — к научной «рациональной» истории.

Таким образом, два новых жанра переходного периода — историография и автобиография, выступавшие перед современностью в качестве публицистически-воспитательной истории народа и истории человека, имели глубокие литературные корни в прошлом и, постепенно видоизменяясь, создавали определенные перспективы для развития в будущем.

Изучение жанровых преобразований в интересующий нас переходный период развития восточноевропейских литератур должно было бы, очевидно, привести к положительным результатам при условии применения принципа литературно-исторической типологии, позволяющего объединить достижения компаративно-контактных и национально-исторических аспектов исследования.
